

УДК 930.2

ПАМЯТЬ КАК БЕЗОПАСНОСТЬ*

В.Ю. Апрыщенко

Аннотация. В статье впервые вводится Модель секьюритизации, разработанная на основе анализа взаимодействия между коллективной памятью, идеей безопасности и идентичностью. Автор доказывает, что развитие Критических исследований безопасности и изучение исторической памяти в последние несколько десятилетий способствовали не только сближению этих научных направлений, но создали основу для появления новой объяснительной Модели, в которой коллективная память является основным элементом, конституирующим смыслы безопасности. В этой Модели уровень безопасности, измеряемый официальными показателями и индивидуальными чувствами, связан с разными формами идентичности и механизмом формирования памяти. Треугольник секьюритизации, являющийся воплощением Модели секьюритизации и образуемый точками S (безопасность), M (коллективная память) и I (идентичность), описывает то общественное пространство, в котором смыслы безопасности создаются коллективными воспоминаниями, обусловленными характером общества и политическими процессами, протекающими в нем. Акцентируется внимание на конструктивистском характере коллективной памяти и идее безопасности, в связи с чем связка «память – идентичность – безопасность» не может быть разорвана. Автор приходит к выводу, что профессиональное сообщество историков несет ответственность не только за формирование образа прошлого, но и за те смыслы безопасности, которые характерны для того или иного общества.

Ключевые слова: коллективная память, конструирование памяти, Критические исследования безопасности, идентичность, Модель секьюритизации, Треугольник секьюритизации, политика памяти, управление памятью.

Апрыщенко Виктор Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и международных отношений Южного федерального университета, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, victorapr@sfedu.ru.

* Статья выполнена при поддержке ЕС в рамках проекта программы Жана Моне «Память и безопасность в Европе и за ее пределами». Содержание статьи является полной ответственностью ее автора и не обязательно отражает мнение Европейского Союза.

MEMORY AS SECURITY*

V.Yu. Apryshchenko

Abstract. The Model of securitization is introduced in the article. It is elaborated through the analysis of correspondence between collective memory, idea of security and identity. The author argues that the development of Critical security studies and collective memory studies during the last few decades caused a synergetic effect and produced the basis for a new Model of securitization. Collective memory is considered as the main element of the security meanings. The level of security in this Model can be measured by official indicators and personal feelings, and it is connected with different forms of identity and types of memory shaping. The Triangle of securitization which is realization of the Model is formed by S-point (Security), M-point (Memory), and I-point (Identity). It forms the Securitization field which consists of public reminiscences and ideas of security. All of this is connected with a type of political regime. The author emphasizes the constructivist character of collective memory and idea of security, and the fact that link between memory, security and identity can't be broken. He concluded that historians are responsible not only for the image of the past but also for the public security consciousness.

Keywords: collective memory, memory construction, Critical security studies, identity, Model of securitization, Triangle of securitization, politics of memory, memory management.

Apryshchenko Victor Yu., Doctor of Science (History), Professor, Director of Institute of History and International Relations, Southern Federal University, 105/42, Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, Russia, 344006, victorapr@sfned.ru.

* This article has been produced with the assistance of the European Union within the project NEMESIS (Jean Monnet Network "Memory and Securitization in Europe and Neighbourhood"). The contents of this article are the sole responsibility of Victor Apryshchenko and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

В опубликованном в 2006 г. «Манифесте» авторы критического подхода к исследованиям безопасности заявили, что дальнейшее изучение проблем секьюритизации будет развиваться по двум взаимодополняющим линиям, одна из которых будет включать временное и историческое измерение, в том числе вопросы коллективной памяти, а вторая сфокусирует внимание на гетерогенных практиках идентичности [Critical Approaches to Security in Europe, 2006]. За прошедшее десятилетие с момента публикации «Манифеста» чрезвычайно мало было сделано в указанных направлениях – изучение и коллективной памяти, и безопасности развивалось как два параллельных процесса, в каждом из которых был достигнут целый ряд прорывов, фактически не оказавших влияния друг на друга. Объяснение этой некогерентности может быть двояким. С одной стороны, исследования безопасности испытали на себе влияние целого ряда геополитических вызовов и столкнулись с необходимостью давать на них вполне практические ответы, перемещаясь таким образом в сферу прикладных исследований. Хотя изначально будучи довольно теоретически ориентированным, направление, получившее название «Критические исследования безопасности», должно было формулировать свое видение глобальных международных процессов, в котором находилось мало места для концептуальных построений. В сфере же изучения коллективной памяти наблюдался прямо противоположный процесс. Мемориальные исследования, наивысшая точка развития которых пришла на середину XX столетия и была связана в значительной степени с изучением памяти о наиболее травмирующих событиях века, таких как Холокост, ГУЛАГ и другие, все более дрейфовали в сторону *Cultural studies*, акцентируя внимание на отдельных символах памяти, культурных архетипах и мифологемах [Assmann, 2010]. К середине же второй декады XXI в. стала вообще наблюдаться и некая усталость академического сообщества от проблематики коллективной памяти, что нашло отражение в только что вышедшей в русском переводе монографии Алейды Ассман [Ассман, 2016]. Сойдясь на короткий период времени, исследования памяти и безопасности разошлись в разных направлениях, являя пример того, что междисциплинарность обладает далеко не абсолютными эвристическими возможностями.

Вместе с тем внутренние возможности сближения двух направлений, думается, далеко не исчерпаны, что будет способствовать не только синергетическому эффекту в области гуманитарного знания, но и приведет к развитию каждой из двух сфер исследований. В уже упомянутом «Манифесте» его авторы отметили, что связь между коллективной памятью и безопасностью усилит и исследования «политики принадлежности» в самом широком смысле – от коллективных дискурсов и практик идентификации до формирования и производства коллективной идеи «себя» и «других», что выразится в конструировании идеи безопасности и формулировании соответствующих политических действий [Critical Approaches to Security in Europe, 2006, p. 470–471]. При таком подходе политика памяти, а также коллективная травма и историческое наследие могли бы рассматриваться как основа коллективных представлений и политики безопасности в различных сообществах. Наконец, так называемая «критическая история», понимаемая, вероятно, авторами «Манифеста»

как переосмысление прошлого в направлении рефлексии по поводу методов исторического исследования и ремесла историка в целом, также могла бы стать основой для сближения двух направлений. Все это позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что для понимания возможных перспектив конвергенции необходимо изучение собственных стимулов внутри каждого научного направления. После этого целесообразно приступить к исследованию тех теоретических предпосылок, которые могли бы стать основой нового общего исследовательского поля.

Несмотря на то, что в современном социально-политическом знании существует множество школ и направлений изучения безопасности, наиболее перспективным с точки зрения сближения с исследованиями памяти является т.н. Критическая школа. В рамках школы, получившей развитие в последние десятилетия XX столетия, существует ряд трактовок рассматриваемой проблемы. В изучении коллективной памяти на протяжении последнего столетия также было сформулировано множество подходов, что позволяет обозначить сразу несколько точек пересечения с современными исследованиями безопасности. На основании анализа современных подходов к изучению памяти и безопасности в данной статье будут сформулированы перспективы конвергенции двух научных направлений.

Более того, изучение взаимодействия исторической памяти и представлений о безопасности дает возможность переосмысления механизмов формирования исторического сознания и роли разных социальных слоев, включая профессиональное сообщество историков, в этом процессе. Давно очевидно, что среди многих функций, которые выполняет историческое знание, обеспечение «мира с прошлым» является одной из основополагающих. Безопасность, таким образом, является одной из сфер общественной жизни, которая испытывает непосредственное влияние исторических представлений, воплощенных в коллективной памяти. Однако как изменение представлений о статусе исторического знания, так и критическое переосмысление подходов к пониманию безопасности требуют и нового взгляда на процесс взаимодействия этих сфер общественной жизни и научных дисциплин.

КРИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: КОНСТРУИРОВАНИЕ СМЫСЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ

По мнению большинства исследователей, Критические исследования безопасности берут свое начало с конференции, состоявшейся в Йоркском университете Канады в 1994 г., а ее первым манифестом стала работа, опубликованная Китом Краузом и Майком Уильямсом в 1997 г. [Critical Security Studies: Concepts and Cases, 1997]. С самого начала Критические исследования не представляли собой единства. В них, скорее, присутствовало страстное желание противостоять традиционному подходу к изучению безопасности. Однако критические позиции направления обозначились далеко не сразу. Речь первоначально шла об изучении «угроз, их применения и управления военной силой». При этом, как и прежде, государство полагалось

в качестве центральной силы, вокруг которой структурируется процесс обеспечения безопасности [Walt, 1991, p. 212]. Однако уже тогда стал возникать вопрос о том, является ли государство единственным объектом безопасности. Поставив вопрос о референтных объектах безопасности, исследователи должны были изучать и проблему характера, масштабов и политики безопасности, что заставляло их совершенно по-новому переосмысливать исследовательское поле дисциплины. При этом под «политикой безопасности» понимались, скорее, не мероприятия в области обеспечения безопасности, а то, как мы знаем о безопасности. И это привело к следующему значимому шагу в становлении Критических исследований.

Наиболее радикальное изменение в подходе к исследованию безопасности заключалось в том, что она впервые была представлена как социально и интеллектуально конструированное явление. Иначе говоря, речь шла не о механизме обеспечения безопасности разными общественными институтами, а о конструировании смыслов безопасности в процессе социального и интеллектуального производства, что означало не просто отход от государствоцентричного подхода, а перевод проблемы в поле эпистемологии и онтологии. Выходя за пределы понимания государства как главного референтного объекта безопасности, К. Крауз и М. Уильямс не только расширили перечень сфер общественной жизни, к которым необходимо обращаться для понимания стратегий безопасности, но поставили вопрос о способах конструирования смыслов безопасности, а также об условиях и этапах этого процесса. Провозглашая «освободительную цель» Критических исследований безопасности¹, авторы концепции сделали попытку объединить международные отношения как сферу деятельности государства с исследованиями международной политики.

Развивая идеи Торонтской школы, датские исследователи Бари Бузан, Оле Уэйвер и Яаап Уильде опубликовали следующую программную работу в рамках Критических исследований – «Безопасность: новые рамки для анализа» [Buzan et al., 1998], введя в оборот понятие о секторальном анализе безопасности (Б. Бузан) и термин «секьюритизация» (О. Уэйвер). Выделение пяти секторов безопасности (военная, безопасность окружающей среды, экономическая, политическая и социальная) значительно расширяло понимание безопасности по сравнению с традиционным подходом, выводя ее за пределы лишь военной силы. Вместе с тем многие сторонники Критических исследований рассматривали сформулированные идеи как попытку ограничить их исследовательское поле.

Понятие секьюритизации (*securitization*), возникшее как ответ на эпистемологический вызов К. Крауза и М. Уильямса, со временем стало визитной карточкой Копенгагенской школы. Оно сводится к тому, что одним из ключевых элементов безопасности является речевой акт (*speech act*) – своеобразное действие, являющееся не просто актом коммуникации уже потому, что оно воплощено в речи, но и наделяющее обозначаемое им явление смыслами безопасности уже в момент

¹ Категория «освободительная цель» (emancipation goal) содержится в работе [Eriksson, 1999].

речевого именованя. Речевой акт, таким образом, является дискурсивным представлением определенного вопроса в качестве экзистенциальной угрозы безопасности. Сам по себе акт коммуникации, словно предъявляя собственные требования, не только направляет наше восприятие и поведение, но придает характер названному объекту, в то время как и сам речевой акт приобретает самостоятельную ценность и значение. Динамика процесса секьюритизации определяется акторами (действующими лицами, заявляющими, что существование референтного объекта находится под угрозой), осуществляющими речевой акт, и референтными объектами (тем, что находится под угрозой существования и у чего есть законное право на существование) [Buzan et al., 1998, p. 36].

Следуя за М. Фуко, называвшим язык не внешним проявлением мысли, но самой мыслью [Фуко, 1994, с. 112], полагая речевой акт действием, исполняемым посредством произношения, а потому не относящимся к вещам вне себя, Оле Уэйвер предположил, что мы можем рассматривать безопасность в качестве подобного акта речевой активности. Он утверждал, что проблема безопасности является таковой потому и только потому, что посредством речевого акта она была перенесена в сферу безопасности, иначе говоря, секьюритизирована. Безопасность, таким образом, представляет собой процесс, в ходе которого вопрос становится вопросом безопасности вовсе не обязательно потому, что существует некая реальная угроза, но потому, что этот вопрос представлен как угроза [Buzan et al., 1998, p. 24].

Такое понимание процесса секьюритизации дало возможность копенгагенцам поставить ряд вопросов. Во-первых, кто в состоянии успешно секьюритизировать проблему? Так, например, высказывание обычного школьного учителя о том, что реформа российского образования в том виде, в котором она проводится сейчас, является вопросом безопасности, будет гораздо в меньшей степени способствовать секьюритизации, чем слова президента В. Путина о том, что «события, спровоцированные на Украине, стали концентрированным выражением пресловутой политики сдерживания. Ее корни уходят, как вы знаете, глубоко в историю, и очевидно, что такая политика не прекращалась, к сожалению, и после завершения холодной войны» [Совещание послов и постоянных представителей России, <http://kremlin.ru/events/president/news/46131>, 2014]. И это несмотря на то, что губительные последствия реформы образования представляют для России гораздо большую опасность, чем «пресловутая политика сдерживания». Вторым вопросом, поставленным в академическую повестку, стала проблема условий успешной секьюритизации. Вероятно, просто совершить речевой акт будет недостаточно для того, чтобы переместить какую-то дилемму в сферу безопасности. Необходимы более сложные обстоятельства, в которых общество будет готово воспринять такое послание. Наконец, каковы последствия секьюритизации? Согласно теории, представленной датскими исследователями, назвать явление проблемой безопасности – значит не только представить его в виде серьезной угрозы, но и спровоцировать значительные политические последствия. В частности, успешная секьюритизация мирового терроризма администрацией президента Дж. Буша после 11 сентября 2001 г. помимо всего прочего привела к самой значительной реорганизации государственной

машины США со времен окончания Второй мировой войны и росту оборонительного бюджета государства до невообразимых размеров.

Указанные вопросы свидетельствуют как о прочной связи процесса секьюритизации с политическим развитием, так и о значительном элементе случайности в реализации стратегий безопасности. Стремясь разрешить последнее противоречие, сторонники Копенгагенской школы указывают на то, что речевое высказывание будет иметь эффект секьюритизации при условии, если социальный контекст, породивший его, относительно стабилен [Buzan et al., 1998, p. 34–35]. Это, в свою очередь, отличает копенгагенцев от Торонтской школы исследований безопасности, в значительно большей степени испытывавшей влияние постструктурализма и конструктивизма с их явным акцентом на социальном заказе процесса конструирования смыслов безопасности.

Вместе с тем сторонники Копенгагенской школы обращали внимание и на то, что любая проблема может быть деполитизированной, политизированной или секьюритизированной. В процессе политизации вопрос становится предметом государственной деятельности и частью общественных дебатов. Иными словами, политизированный вопрос – это «часть публичной политики, требующая решения правительства и распределения ресурсов» [Buzan et al., 1998, p. 23]. Секьюритизация же проблемы происходит тогда, когда в результате речевого акта проблема заявляется как чрезвычайная и требующая мер, выходящих за рамки стандартных политических процедур. В некоторых случаях возможен и обратный процесс, и тогда в ходе десекьюритизации вопрос перемещается «из аварийного состояния в русло нормального переговорного процесса в политической сфере» [Buzan et al., 1998, p. 4].

Для того чтобы объяснить, как и когда проблема будет восприниматься в качестве экзистенциальной угрозы, исследователи выделили два этапа процесса секьюритизации. Первый связан с выявлением тех процессов, явлений или субъектов, которые представляют угрозу референтному объекту, а также с определением самого референтного объекта. На втором этапе, используя речевой акт, проблема перемещается в сферу безопасности, иначе говоря, секьюритизируется. Этот этап может быть успешно завершен только тогда, когда аудиторию удастся убедить в том, что для референтного объекта существует реальная угроза, и только в этом случае могут быть приняты чрезвычайные меры. Вопреки реалистическому подходу, фокусирующемуся на физической природе угрозы, Копенгагенская школа утверждает, что секьюритизация может быть успешной (то есть привести к реальным политическим мерам) или неуспешной в зависимости от того, как аудитория воспримет речевой акт. В свою очередь успешная секьюритизация может обеспечить некоторые ощутимые преимущества ее акторам, включая более эффективную обработку сложных проблем, мобилизацию общественной поддержки в определенных сферах, названных значимыми для безопасности, а также распределение большего количества ресурсов. Кроме того, принятие и осуществление чрезвычайных мер в результате секьюритизации проблемы включают идентификацию врага посредством его именованя.

Важный вопрос о роли политики в процессе наделения смыслами безопасности, лишь затронутый копенгагенцами, был развит Валийской школой критических исследований безопасности, получившей развитие в университете Аберистуита. Кен Бут, автор программной работы «Критические исследования безопасности и мировая политика» [Critical Security Studies and World Politics, 2005], попытался объединить идеи Торонтской и Копенгагенской школ с постмарксистской традицией, в рамках которой все знание полагается результатом социального процесса, а также с традицией Франкфуртской школы, теорией Юргена Хабермаса в частности. Поставив перед собой задачу объяснить трансформацию международных отношений, К. Бут отстаивал идею интереса, который движет международной политикой. По его мнению, критическая теория, поставленная на службу международным отношениям, должна усилить сферу обеспечения безопасности посредством освобожденной политики и консолидации сообществ разных уровней [Critical Security Studies and World Politics, 2005, p. 268].

Несмотря на целый ряд различий, существующих в современных трактовках безопасности между отдельными направлениями Критических исследований, все теории объединяет признание конструирования смыслов безопасности, осуществляемого в определенном социальном и интеллектуальном контексте, при котором любая угроза не существует экзистенциально, естественно и неизбежно. Акцент в таком случае переносится с вопроса о том, какова опасность, на проблему того, как она возникает и каков социальный и интеллектуальный механизм ее полагания. Более того, конструктивистский характер угрозы приводит к тому, что под влиянием смыслов безопасности и конструирования идеи угрозы меняется и само общество, на что указывают представители Парижской школы исследований безопасности.

Парижская школа, сформировавшаяся вокруг Дидье Биго [Terror, Insecurity and Liberty... 2008], изучает проблему того, как представления о безопасности повлияли на повседневную жизнь и как идея безопасности воплотилась в каждодневных практиках. По мнению ученых, причисляющих себя к Парижской школе, война с терроризмом породила атмосферу страха и нестабильности, а меры безопасности, которые поначалу представлялись временными и исключительными, стали применяться постоянно, войдя в жизнь отдельных граждан. Джорджо Агамбен [Agamben, 1998, 2005], анализируя статус узников Гуантанамо, предложил термин «голая жизнь» – это жизнь людей, лишившихся каких-либо прав, с неясным политическим и юридическим статусом. Поскольку чрезвычайные меры сделались обычными, такая жизнь стала уделом не только лишенцев, но и в значительной степени обычных граждан.

Развивая идеи влияния представлений о безопасности на повседневные жизненные практики, Дидье Биго, Серхио Каррера, Элспет Гуилд и Р.Дж.Б. Уокер опубликовали доклад по итогам проекта «Вызов» [Bigo et al., 2009], посвященный соотношению свободы и безопасности в Европе после объявления войны с терроризмом. Если в Амстердамском договоре, подписанном в 1999 г., ставилась задача

создать в Евросоюзе «пространство свободы, безопасности и справедливости», то в Гаагской программе, принятой пятью годами позже, речь шла уже о балансе свободы и безопасности. Иными словами, эти два понятия оказались взаимоисключающими. Доклад подчеркивает, что Запад отходит от традиционной презумпции невиновности. Каждый гражданин превращается в подозреваемого, а под безопасностью понимаются уже не законность и права человека, а надзор и контроль.

В работе Дэвида Кемпбелла о «прописывании безопасности» на примере США после террористических актов 2001 г. анализируется изменение институтов государства через эволюцию дискурсов безопасности [Campbell, 1998]. Воодушевленный идеями Бредил Кляйна о политических последствиях традиционных исследований безопасности [Klein B., 1994], суть которых заключается в том, что научные исследования задают вектор политики в сфере обеспечения безопасности, Д. Кемпбелл проанализировал дискурс внешней политики США, неотделимый от внешнеполитических мероприятий. Он показал, как конструирование образа «другого», а также идея угрозы оказывают влияние на внешнеполитический курс государства. Референтный объект, таким образом, оказывается самоконструируемым в процессе интеллектуальной деятельности.

Будучи постструктуралистскими по своей методологии, исследования Д. Кемпбелла и Б. Кляйна испытали на себе явное воздействие французской философской школы, в частности идеи Ж. Деррида и М. Фуко. Помимо роли языка в процессе конструирования идеи опасности, «генеалогическая» история М. Фуко, где история полагается в качестве настоящего, дает понимание современным дискурсам, включая идею безопасности. Генеалогическая история, как разновидность политически ангажированной рефлексии по поводу возникновения современности и ее природы, является одной из теоретических основ, на которых строятся Критические исследования безопасности. Анализ повседневности власти, проведенный М. Фуко, демонстрирует, что властные отношения располагаются в повседневности и соприкасаются с человеческой жизнью через социальные практики в большей степени, чем через убеждения. Смысл угроз, таким образом, может быть конструируемым посредством представления об историческом развитии. Следуя методологии Стратегических исследований, Д. Кемпбелл и Б. Кляйн рассматривают мировую политику как результат академического дискурса.

Однако Критические исследования безопасности с их идеей конструирования угрозы, осуществляемого посредством определенных целенаправленных действий, выраженных в форме речевого акта, ставят не просто вопрос о роли академического сообщества, но затрагивают более важную эпистемологическую проблему о природе и «режиме» знания в постинформационном обществе. Кто является производителем информации и знания? Посредством каких механизмов это знание производится и распространяется? Каковы должны быть условия, чтобы речевой акт был успешно усвоен аудиторией? Эти же вопросы составляют академическую повестку изучения другой «реальности» – прошлого и находят отражение в исследованиях коллективной памяти.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗАМИ ПРОШЛОГО

Исследования исторической памяти пережили серию взлетов и падений на протяжении последнего столетия. Сегодня целый ряд авторов критически относятся к самому концепту «коллективная память». Делла Сала вообще отказывает феномену европейской коллективной памяти в праве на существование, говоря о том, что память – это индивидуальная категория, и поэтому для описания внутренних связей в рамках коллективной идентичности лучше использовать термин «миф» [Sala, 2010, p. 4]. Рейнхарт Козеллек, также отстаивая идею индивидуального характера памяти, квалифицирует термин «коллективная память» как запутывающую метафору, которая должна быть заменена более адекватными категориями, такими как «традиция» или «историческое сознание» [Koselleck, 2000, S. 19, 20]. Более того, некоторыми исследователями концепт «коллективная память» характеризуется как некая примордиальная категория, аналогичная термину «национальная душа» или «национальный дух» [Klein K.L., 2000, p. 135]. В результате полагается, что люди могут помнить, а нации и общества – нет.

В то же время сторонники категории «коллективная память», начиная с Мориса Хальбвакса, никогда не рассматривали ее как метафору для описания сообществ, будь то нация или раса. Используя концепт *memoire collective*, М. Хальбвакс обращал внимание на феноменологический характер того, что происходит, когда мы вспоминаем что-то – наши воспоминания осуществляются в определенном социокультурном контексте, а значит – вспоминая, мы осуществляем этот процесс, в соответствии с определенными культурными матрицами, отражающими нашу принадлежность той или иной социальной группе. А значит, если индивидуальные воспоминания попадают в коллективную память, они меняются и переносятся из сферы персонального в область коллективного сознания [Хальбвакс, 2005, с. 8]. Критикуя бергсоновский индивидуализм, М. Хальбвакс акцентирует внимание на социальных рамках памяти, которая не сводится просто к сумме индивидуальных памятей, но в определенной степени независима от них.

Пространственно-временные представления европейского общества сегодня формируются в условиях «мемориального бума», который являет себя во всем – от политических практик до меню ресторанов. Этот процесс, хотя и восходящий к разным социополитическим истокам, в равной степени характерен и для востока, и для запада европейского континента. Рубеж XX и XXI столетий стал временем историзации европейского общества, и это «возвращение к истории» воспринималось как «возвращение Европы». В то время как процесс экономической и политической интеграции начался в Европе в послевоенный период, волна культурной интеграции берет свое начало только с 1990-х гг., что, вероятно, было связано с окончанием холодной войны и «размораживанием» целого ряда сложных вопросов. Воссоединение западно- и восточно-европейских стран, полагаемое как пространственная реунификация Европы, поставило и проблему темпорального объединения, что было связано не столько с разным уровнем развития стран

европейского континента, но и с различным прочтением своего прошлого. И если с точки зрения уровня материального развития страны «Старой Европы» могли ожидать (а в действительности – требовать) от восточно-европейских государств определенного движения вперед, то в сфере коллективной памяти это был диалог равных – обеим сторонам было в чем упрекнуть друг друга.

Идея коллективной памяти может быть, вероятно, концептуализирована как минимум на трех уровнях – эмпирическом, философском и эпистемологическом. С точки зрения эмпирического анализа, критики коллективной памяти отрицают, что в акте припоминания отражаются реальные факты прошлого. Когда мы о чем-то вспоминаем, выражая это в языке, мы тем самым лишь оказываем влияние на слушающую аудиторию, побуждая ее к новому витку воспоминаний. Этот второй акт воспоминаний может быть вызван как тем человеком, который был участником какого-либо события прошлого, или же тем, кто просто разделяет оценку прошлого на эмоциональном уровне. Именно поэтому, считают критики концепта «коллективная память», в актах общественных воспоминаний отражается в первую очередь индивидуальный опыт реципиента памяти, а вовсе не социокультурный контекст. В этой критике чрезвычайно важна аудитория, воспринимающая исторический нарратив, а также те обстоятельства, которые движут ее настроениями. От того, насколько восприимчива окажется она к предложенному ей нарративу, зависит степень влияния прошлого на настоящее.

Второй уровень памяти, философский, может быть концептуализирован посредством теории Людвиг Витгенштейна и его критики возможности «частного языка» [Витгенштейн, 1958]. Под ним философ понимает язык, слова которого относились бы только к чьим-то частным ощущениям, так чтобы их больше никто не понимал. Он утверждает, что такой язык не мог бы служить коммуникации, поскольку последняя понимается как деятельность, осуществляемая в соответствии с определенными правилами. Транслируя проблематику языка на коллективную память, становится очевидным, что если индивидуальная память, недоступная окружающим, является вполне заурядным явлением, что лишь только облекаясь в вербальную форму, она наделяется «коллективным» смыслом – иначе говоря, кодируется в обозначениях, дающих возможность тиражировать ее. Следовательно, коллективная память – это всегда серия коллективных языковых игр по кодированию и раскодированию прошлого.

Третий уровень, с которого теория коллективной памяти может быть подвергнута критике, эпистемологический. По словам Поля Рикера, категория «коллективная память» может быть рассмотрена как метафора или аналогия посредством ошибочного смещения акцента с вопроса «что» на вопрос «кто» [Ricour, 2000, p. 3–5]. Поскольку западная философская традиция отдавала предпочтение изучению «эгологической», индивидуальной стороны (*cote egologique*) опыта воспоминания, в связи с чем концепт «коллективной памяти» возник лишь по аналогии. Вместе с тем, по мнению П. Рикера, вопрос о том, что мы помним, сулит гораздо более обещающие эвристические перспективы, чем проблема того, кто осуществляет акт воспоминания. В этом, кроме

прочего, сложно не отметить гуссерлевский феноменологический подход, в соответствии с которым любое сознание – это сознание чего-то.

Вопрос о том, что мы помним, связан также с проблемой того как мы помним. Один из важнейших выводов, вытекающих из эпистемологии Рикера, заключается в выделении активного и пассивного акта воспоминания – того, что древние соответственно именовали *anamnesis* и *mneme*. То, что мы вспоминаем, и то, что «приходит нам в голову», является пассивным актом воспоминания. Но иногда мы, пытаясь вспомнить что-то, осуществляем «акт поиска» в нашем сознании [Ricour, 2000, p. 6]. Этот путь восстановления памяти используется и тогда, когда мы конструируем политическую идентичность в современности.

Стремясь избежать эффекта метафоризации концепта «коллективной памяти», Джей Уинтер и Эммануэль Сиван предложили термин «коллективное воспоминание» [Winter, Sivan, 1999]. Полагая «воспоминание» в качестве процесса, направленного на то, чтобы восстановить в памяти события прошлого, исследователи акцентируют его активную сторону. При этом указанный процесс, осуществляемый как индивидуумами, так и группами, преследует цель формулирования некоего нарратива [Winter, Sivan, 1999, p. 9]. Таким образом, если «память» понимается как обозначение объекта, то «воспоминание» является процессом, направленным на конструирование объекта, что подразумевает определенную «политику воспоминаний». Это особенно важно в контексте современной Европы, память которой травмирована различными конфликтами, включая мировые войны и конфликты конца XX – начала XXI вв. Очевидно, что такая политика направлена на преодоление такого рода травм посредством воздействия на наиболее болезненные точки памяти.

Травмы прошлого являются основным предметом заботы творцов памяти, которые в серии нарративов стремятся создать неконфликтный образ минувшего. Выполняя коммуникативную функцию, сам нарратив играет еще и другую существенную роль. Посредством очерчивания круга «своих» и «чужих», наделяя культурно-историческим смыслом пространство и время, он тем самым секьюритизирует внутреннее пространство сообщества. Используя образы прошлого, помещая его в современность, а значит, актуализируя былое, текст о событиях прошлого лишает историческую память просто информационной функции и источника сведений о минувших событиях, превращая ее в посредника, через которого история каждый раз взывает к современности. По словам Росса Пулла, «голоса памяти – это наши голоса, а требования памяти адресованы нам» [Poole, 2010, p. 32]. Полагая память в качестве приглашения к действию, общество соглашается с ее мобилизационной функцией, которая особо важна в кризисные ситуации общественного развития.

Сам нарратив, который так же, как и «речевой акт» секьюритизации, может пониматься как некое высказывание, уже является средством излечения травмы и способом воздействия на общественное сознание. Однако среди наиболее действенных и часто встречающихся механизмов такого воздействия на память является амнезия. Совершенно очевидно, что память и амнезия не являются

противоположными понятиями, когда мы говорим о коллективных воспоминаниях. Скорее, амнезия может быть обозначена как «отрицательная память», являющаяся таким же неотъемлемым элементом процесса воспоминания, как и само знание о прошлом. В этом смысле, забыть – это тоже «помнить». Эрнст Ренан в своей знаменитой лекции «Что такое нация», прочитанной в Сорбонне в 1882 г., предпочитает говорить даже не о забвении, а об «историческом заблуждении», полагая его одним из значимых элементов конструирования нации [Ренан, 1902]. Именно «желание [нации] продолжить общую жизнь» [Ренан, 1902, т. 6, с. 100] обуславливает необходимость «отрицательной памяти» – того варианта прошлого, которое лишает сообщество конфликтных воспоминаний.

Создавая общие нарративы в процессе излечения травмы, общество конструирует и «тот дом, который строили и теперь переносят» [Ренан, 1902, т. 6, с. 100]. В терминологии Я. Ассмана, «места памяти» – это те, наделенные знаками (то есть семиотизированные) пространства, которые составляют «священный ландшафт» [Ассман, 2004, с. 63]. Полагая «места памяти» основой коллективных воспоминаний и тем, посредством чего преодолеваются травмы прошлого, мы можем рассматривать в качестве таковых и монументы, посвященные сражениям и жертвам прошлого, и архивные хранилища, где находятся исторические тексты, и даже политические институты, например ЕС, сформированный как международная организация усвоивших уроки тоталитаризма и Второй мировой войны государств. Более существенно, что «места памяти» являются носителями тех нарративов, которые, будучи положенными в определенный политический контекст, задают вектор развития коллективным воспоминаниям.

Историки, собравшиеся на парижской конференции в 2006 г., констатировали необходимость «европеизации памяти Второй мировой войны». По, вероятно, не случайному совпадению, это был тот же самый год, когда исследователи безопасности опубликовали свой программный Манифест с призывом обновить повестку проблем секьюритизации [Critical Approaches to Security in Europe, 2006]. Полагаемые наиболее актуальными проблемы взаимосвязи памяти и безопасности основывались на том, что вплоть до самого начала нынешнего столетия память о Второй мировой войне скорее разделяла европейцев, чем объединяла их, а идея единой Европы рассматривалась как экономический или геополитический проект. Насущным же политическим требованием в условиях европейской интеграции становился метанарратив «единой Европы, рожденной войной». Прежнее понимание роли победы над нацизмом не соответствовало задачам, ставящимся перед европейским сообществом. Хотя впервые вопрос о «глобальной памяти» был институализирован в академической повестке только в 2010 году, вероятно, что именно в те годы были заложены основы того, что позже будет категоризировано как «глобальная память» [Memory in a Global Age... 2010].

В современном мире коллективная память служит задачам межкультурной интеграции и гуманитарной интервенции. С окончания холодной войны и вплоть до взрывов 11 сентября 2001 г. интеграция и интервенция являлись двумя самыми важными политическими проектами Запада, которым должна была служить историческая

память. Будучи связанными между собой разными способами, европейская интеграция и интервенция легитимировали себя посредством апеллирования к прошлому. Войны за «югославское наследство» наводнили континент потоками беженцев, аналогичных которым Европа не помнила со времен Второй мировой войны, а военная интервенция должна была помочь исправить неудачи интеграции. Да и сама внешняя интервенция зачастую осуществлялась под предлогом интеграции мультиэтнических сообществ. Память о жертвах Второй мировой войны, включая жертвы холокоста, должна была подтвердить полезность прошлого.

Одним из способов оперирования прошлым, взятым на вооружение творцами памяти, являются исторические аналогии. Несмотря на предупреждение Джеймса Брайса, сделанное им в 1888 г., о том, что «наибольшее практическое значение истории состоит в том, чтобы увести нас от благовидных исторических аналогий» [Bruce, 1995, p. 9], этот метод все еще остается одним из самых распространенных приемов использования знаний о былом. Не объясняя настоящее и искажая прошлое, прием аналогии имеет незначительный эффект даже несмотря на то, что подтверждается целым рядом теорий когнитивной психологии [Khong, 1992]. Важно, однако же, то, что, будучи одним из инструментов коллективной памяти, механизм исторических аналогий консолидирует сообщества, формируя мемориальную солидарность по отношению к прошлому. Мемориальная солидарность, не исключая другие формы идентичности, вероятно, способна развить восприимчивость общества к интеллектуальной интервенции извне. В обществах, основанных на устоявшейся демократической традиции, речь не идет о морально-политическом «санитарном кордоне», призванном оградить социальный организм от нового понимания прошлого. Мемориальная солидарность лишь препятствует поверхностным аналогиям, откуда бы они ни исходили, политической ангажированности и ложным стратегиям «утешения прошлым».

ТРЕУГОЛЬНИК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

Формирование смыслов безопасности и мемориальных практик включает в себе целый ряд общих черт. Безопасность и прошлое – это не только две «конструируемые» реальности, но и два общественных феномена, испытывающих взаимное влияние. Отношения между памятью и безопасностью выстраиваются на трех уровнях. Во-первых, они оказывают взаимное влияние в процессе конструирования смыслов каждого из них. Представления о безопасности формируются с учетом коллективного опыта, в рамках которого определяются пространственно-темпоральные границы сообществ и тем самым происходит разделение на «своих» и «чужих». Потребность помнить и забывать вызывается потребностью конструировать смыслы безопасности в условиях динамических общественных изменений. В этом случае память выступает как процесс, хорошо развитый в обществах, требующих объяснения драматических перемен, а значит, связанных с секьюритизацией и десекьюритизацией повседневности. Память, воплощенная в серии нарративов и речевых актов, выступает как ресурс интеграции общества, очерчивающего свои

границы, и тем самым секьюритизирует внутреннее пространство. Особенно важна секьюритизационная функция памяти в постиндустриальную эпоху, когда формируются «постматериальные» потребности, а необходимость секьюритизировать настоящее посредством обращения к прошлому переживает ренессанс. Вместе с тем и сама коллективная память испытывает на себе воздействие дискурса безопасности, поскольку всегда носит избирательный характер. Идея безопасности рассматривается в этом случае как ресурс коллективной памяти.

Как правило, в данном случае речь идет о наделении смыслами безопасности какого-то отдельного события или факта прошлого и переносе его в современность. Это может происходить тогда, когда авторитарные правительства, осуществляя политико-культурную либерализацию, открывают доступ к свидетельствам прошлого в целях легитимации современных мероприятий, придавая тем самым прошлому функцию морального стандарта. Горбачевская политика гласности является одним из примеров того, как в условиях политических реформ история была призвана объяснить сложный период трансформации.

В других случаях речь идет об идеологизации истории, связанной с попытками определенных интеллектуальных и политических групп, стремящихся к контролю над общественными представлениями, придать историческим событиям определенное значение. При этом речь идет не просто о трактовке отдельных событий, а о придании им смысла в целях мобилизации современного исторического сознания. Иначе говоря, в отличие от морализаторского использования истории, когда отдельное событие ставится в центр внимания, речь идет о формировании целостного исторического конструкта для объяснения современных вызовов и проблем.

Такое использование истории напрямую связано с успехом тех идеологических систем, которые используют историю для объяснения и оправдания ошибок прошлого посредством апеллирования к необходимости и закону. Прошлое в форме памяти в этом случае призвано обезопасить и рационализировать настоящее. На практике это часто воплощается в установлении непосредственных хронологических связей и систем периодизаций, в «обесцвечивании прошлого» и удалении из него тонов и полутонов, а также концептуализации линейной перспективы истории. Социокультурным контекстом для такого понимания прошлого зачастую являются националистические представления, используя которые власть символически связывает нацию с определенной территорией, на которую распространяются ее политические притязания. В частности, лишь только Крым был присоединен к России, как тут же в массовые исторические представления стала активно возвращаться идея о полуострове как колыбели российской цивилизации и месте, где зародилось русское православие. Как правило, такое идеологическое понимание истории сопровождается этнотерриториальными конфликтами и характерно для авторитарного режима власти [Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, 2005].

В рамках идеологического использования истории забвение, обратная сторона коллективной памяти, может выступать как целенаправленная политика

«не-использования прошлого», выражающаяся в целенаправленном и осознанном изъятии определенных событий из исторической памяти. Будучи укорененными в идеологии, такие представления, во-первых, являются результатом деятельности элит по формированию определенного образа прошлого, а во-вторых, имеют своей целью обезопасить существующий политический режим. Такое «не-использование» истории характерно для обществ и государств, которые создают новую легитимацию посредством отказа от традиции и прежнего наследия, полагая новую государственность феноменом скорее настоящего и будущего, чем прошлого. Такое понимание роли истории было характерно для молодого Советского государства, найдя особенное выражение в деятельности Пролеткульта. Социалистическому обществу, согласно этой концепции, нечему было учиться у прошлого, а, скорее, необходимо было развивать собственные принципы взаимодействия, основанные на социалистических добродетелях. Вероятно также, что подобная форма идеализированной истории характерна для сообществ, в которых лишь недавно произошли революционные перемены, связанные со сменой политической системы.

Во всех перечисленных примерах историческая память в форме морализаторского или идеологизированного использования выступает ресурсом безопасности потому, что из нее напрямую берутся (или вымарываются) примеры, должные рационализировать или легитимизировать существующие политические практики. Секьюритизируя прошлое посредством его введения в повседневную жизнь, осовременивая его, а также публично полагая историю в качестве ресурса развития нации, власть наделяет память смыслами безопасности. В отличие от профессионального использования истории, где, по словам Герберта Баттерфилда, «главная цель историка состоит в объяснении несходства между прошлым и настоящим... работе по разрушению аналогий, которые могут возникать в сознании» [Butterfield, 1931, p. 10], использование памяти как ресурса безопасности, наоборот, предполагает акцентирование параллелей между историческими периодами, сообществами и поколениями.

Второй формой взаимовлияния памяти и безопасности является их совместное маркирование границ сообществ (территориальных, темпоральных, семиотических и других), что составляет основу идентичности. Пространственно-темпоральные представления, бытующие в обществах, обусловлены трансформацией исторической памяти, воплощенной в мифах и символах. Коллективная память выполняет в современной Европе одну из своих важнейших функций – коммуникативную, обусловленную необходимостью коммуникации как в диахронном, так и в синхронном измерении. Признание того факта, что у определенных групп европейского общества (национальных, политических и др.) есть свои интересы, вовсе не препятствует этой коммуникации. Использование истории и прошлого позволяет не только рефлексировать по поводу драматических изменений современности, но и осознать роль сообщества в мировой системе координат – вызов, с которым столкнулась современная Европа, как в связи с расширением ЕС, так и притоком инокультурных иммигрантов. Кроме того, использование истории становится частью объяснительных моделей не только пространственного,

но и темпорального дискурсов, включая проблемы идентичности, представления о правильном и запрещенном, об идеологических и политических основах существующих властных отношений, а также дает оценку научным концепциям. Такое многообразное использование прошлого – в политической сфере, моральной, в области идентичности – позволяет объяснить кризисные и переломные периоды европейского развития, но каждая из этих сфер вовсе не противоречит друг другу, скорее представляя современное европейское сознание в качестве целостности, легитимирующей само существование единой Европы.

Память и представления о безопасности формируют основу экзистенциального использования истории, в котором индивидуальный и коллективный уровни воспоминаний составляют основу идентичности. Новое представление о времени, когда идентичность связана не только с пространственными границами, но очерчивается и в темпоральных категориях, постоянно перемещает память между автобиографическим и коллективным уровнями. Однако, будучи социальным феноменом, даже индивидуальная память, заключенная в когнитивные и эмоциональные рамки, может стать предметом мобилизации и манипуляции со стороны элит, способных поставить сложившиеся общественные ценности под вопрос. Полагая идентичность в качестве интегрирующего общественного феномена, а также осознавая опасность как внешней, так и внутренней интервенции, общество рассматривает коллективную память как стабилизирующий механизм, а также способ изживания травмы. Особенно очевиден такой способ использования истории в современных трактовках Второй мировой войны, направленных на «европеизацию» исторического сознания в условиях европейской интеграции, переживающей сегодня целый ряд сложностей.

Наконец, третьей формой взаимодействия памяти и безопасности является модель, в которой вместе с идентичностью коллективная память и дискурсы безопасности формируют Треугольник секьюритизации. Управляя идеей безопасности и перемещая представления о безопасности вдоль вертикальной оси, элиты расширяют площадь Треугольника секьюритизации, открывая более широкие возможности для конструирования смыслов безопасности посредством исторической памяти и коллективной идентичности.

Индивидуальное и коллективное сознание всегда являются предметом секьюритизации, поскольку люди стремятся обезопасить свою идентичность, приведя в соответствие повседневные практики с официальным языком власти. Коллективная память является одним из средств, с помощью которых борьба за сохранение идентичности перемещается из сферы жесткой конфронтации в область «мягкой безопасности» (*soft security*). Процесс радикализации памяти, обусловленный драматическими общественными изменениями, в этом случае принимает форму «войн памяти», а гармонизация идентичности является, как правило, результатом «перемирия с прошлым».

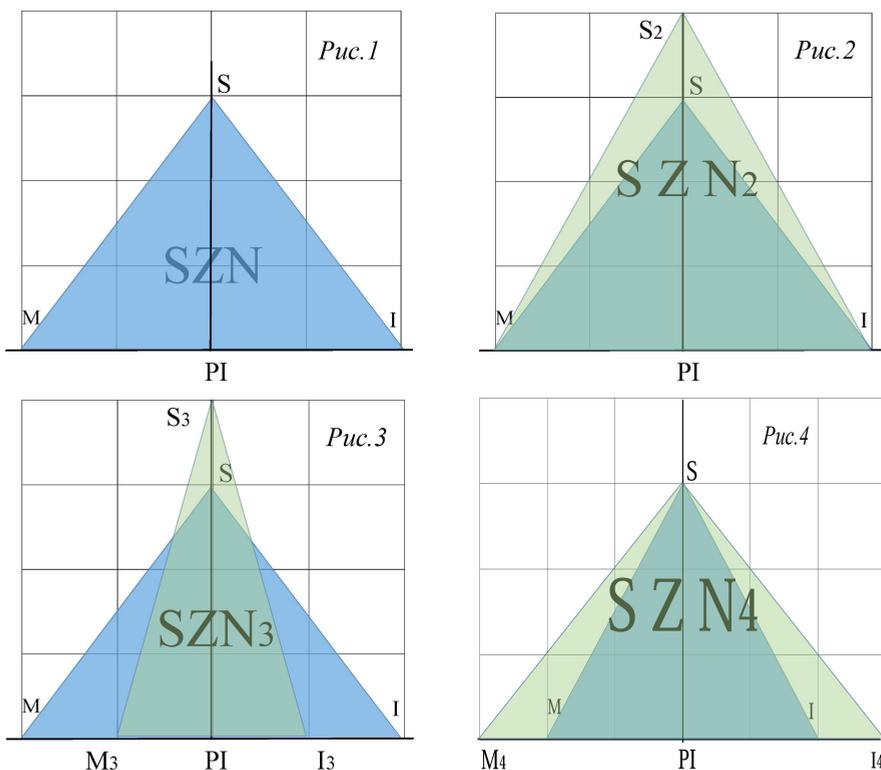
Однако травматический опыт перехода от одного типа общества к другому (в терминах геополитики, политических режимов или этнического состава) может

обуславливать амнемоническую афазию, когда люди осознают исторический процесс и имеют вполне рациональное видение своего будущего, однако утрачивают дискуссионные и вербальные категории для описания этого процесса. В этом случае речь идет о расколотой памяти, в рамках которой утрачены некоторые элементы, интегрирующие понимание прошлого, что обуславливает и ситуацию тревожных общественных настроений, и кризиса идентичности, и одновременно требует внешнего вмешательства, направленного на восстановление утраченных элементов исторического сознания. Этот процесс может быть реализован в результате «работы памяти», в ходе которой «обмен историческими представлениями позволяет придать обществу и идентичности новые смыслы [Ricoeur, 1995, p. 3], а также преодолеть травматический опыт посредством терапевтического вмешательства, включающего общественный диалог, признание и примирение.

Таким образом, основная функция этой «работы памяти» заключается в защите идентичности и устранении угроз, ассоциирующихся с прошлым. Оттого что коллективная память одновременно является и элементом формирования идентичности и используется в процессе определения степени опасности того или иного феномена, именно эти три компонента – безопасность, идентичность и память – формируют пространство, в рамках которого общество конструирует смыслы безопасности (треугольник SIM: Security – Identity – Memory, рис. 1).

В этой Модели секьюритизации уровень безопасности, измеряемый официальными показателями и индивидуальными чувствами, связан с разными формами идентичности (гендерной, культурной, религиозной, политической и др.) и механизмом формирования памяти. Последний включает в себе различные формы памяти, мемориальные практики и нарративы, признаваемые общественным сознанием. Внутренне пространство треугольника, образуемого точками пересечения памяти, безопасности и идентичности, являет собой поле секьюритизации (SZN) – взаимодействие разных сфер общественной жизни, направленных на придание смыслов безопасности каждодневным человеческим практикам.

Внутренняя площадь треугольника может быть изменена двумя способами. Во-первых, перемещение точки S вдоль вертикальной оси вверх, осуществляемое властью, устанавливающей уровень безопасности посредством формальных и неформальных «речевых актов», означает повышение или понижение уровня безопасности. Перемещение S вверх при сохранении точек M и I на прежних позициях (рис. 2) подразумевает, что отрезки S2M и S2I удлиняются и включают в себя большее количество возможностей интерпретации смыслов безопасности посредством апеллирования к памяти и идентичности, часто в свою очередь означает увеличение публичного пространства секьюритизации. Однако повышение уровня S может достигаться и без изменения длины SM и SI, что означает приближение M и I к точке P1 (индивидуальная идентичность), а значит – сокращение возможного набора мнемонических практик и способов идентификации (рис. 3). В этом случае площадь треугольника сокращается, что подразумевает снижение возможностей секьюритизации в рамках общественного диалога.



С другой стороны, увеличение отрезков MP_1 и IP_1 до M_4P_1 и I_4P_1 соответственно, подразумевающее появление новых форм памяти и мемориальных практик, или развитие новых форм идентичности приведет к увеличению пространства секьюритизации даже при том, что власти не будут повышать уровень точки S (рис. 4). Расширение смыслов безопасности в этом случае будет достигнуто посредством увеличения мемориальных и культурных практик, форм общественного взаимодействия и способов идентификации, в которых реализуется общественное взаимодействие.

Вместе с тем Модель секьюритизации дает возможность определить и характер политического режима. В то время как авторитарные режимы стремятся регулировать уровень безопасности лишь в рамках политического дискурса, определяемого государством (перемещая точку S), в демократических системах со сформировавшимися институтами гражданского общества поле безопасности представляет собой саморегулирующееся пространство, определяемое меняющимися мнемоническими практиками и формами идентичности. Более того, превращение коллективной памяти в референтный объект, являющийся предметом постоянного внимания государственных институтов, свидетельствует о недемократических механизмах формирования исторического сознания. Чрезмерно увлекаясь управлением прошлым и исключая гражданское общество из процесса формирования исторической памяти, государство загоняет себя в ловушку, становясь заложником истории. И наоборот,

саморегулирующееся поле секьюритизации, в котором коллективная память и способности идентичности формируются вне активного вмешательства государственных институтов, дает возможность и власти управлять уровнем безопасности в зависимости от реакции общества. Как бы то ни было, во всех трех случаях память выступает, скорее, как процесс, а не как результат. Это всегда активная деятельность по созданию смыслов безопасности. Она наполняется нарративами, отвечающими потребностям настоящего скорее, чем соответствует некоему «реальному» прошлому.

Эту тройную связку памяти, безопасности и идентичности разрушить невозможно. Речь должна идти о переосмыслении роли каждой из этих сфер общественного сознания, а также по поводу осознания механизма формирования представлений о каждой из них. Особая роль в этом процессе принадлежит профессиональным экспертным сообществам ученых, которые должны не только открывать истину прошлого, но и демонстрировать рефлексию в отношении своей деятельности. В этом смысле новое прошлое – это всегда не просто эмпирическое и окончательное установление фактов и не просто производство такой истории, в которой не остается места для мифов и сомнений, а деятельность историка как разновидность ренановского «ежедневного плебисцита», направленного на формирование общественного сознания, а значит, и смыслов безопасности.

Разрушение «башни из слоновой кости» для историка предполагает, очевидно, выработку такого языка науки, с помощью которого профессиональная историография, рассказывая о прошлом, будет отвечать на вопросы современности. В этом случае задача «установления мира с прошлым» уступает место поиску «перемирия» с ним и готовности в любой момент ставить новые вопросы перед историческими источниками, отыскивая в них ответы на новые вызовы современного общества.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах прошлого. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 232 с.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Наука, 1958. 133 с.

Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. *Собрание сочинений в 12-ти томах* / пер. с фр.; под ред. В.Н. Михайловского. Т. 6. Киев: Б.К. Фукс, 1902.

Совещание послов и постоянных представителей России 1 июля 2014 г., <http://kremlin.ru/events/president/news/46131> (дата обращения – 18 июля 2016 г.).

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // *Неприкосновенный запас*. 2005. № 2–3.

Фуко М. Слова и вещи. СПб.: А-сэд, 1994. 407 с.

Agamben G. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press, 1998.

- Agamben G. *State of Exception*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2005.
- Assmann A. The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community // *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*. Ed. by A. Assmann, S. Conrad. Palgrave Macmillan, 2010.
- Bigo D., Carrera S., Guild E., Walker R.B.J. *The Changing Landscape of European Liberty and Security: Mid-Term Report on the Results of the CHALLENGE Project, Research Paper № 4* (2009). URL: www.libertysecurity.org/article1357.html.
- Bryce J. *The American Commonwealth*. 2 vols. Indianapolis: Liberty Fund, 1995.
- Butterfield H. *The Whig Interpretation of History*. L., 1931.
- Buzan B., Wæver O., Wilde J. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers Inc., 1998.
- Campbell D. *Writing Security: United States foreign policy and the politics of identity*. Minneapolis, 1998.
- Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto // *Security Dialogue*. 2006. Vol. 37. No 4.
- Critical Security Studies and World Politics*. Ed. by Ken Booth. London and Boulder: Lynne Rienner Publications Inc., 2005.
- Critical Security Studies: Concepts and Cases*. Ed. by K. Krause, M. Williams. Minneapolis, 1997.
- Eriksson J. Debating the Politics of Security Studies: Response to Goldmann, Wæver and Williams // *Cooperation and Conflict*. 1999. No 34.
- Khong F. *Analogies at War: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965*. Princeton University Press, 1992.
- Klein B. *Strategic Studies and World Order*. Camb., 1994.
- Klein K.L. On the emergence of Memory in historical discourse // *Representations*. 2000. Vol. 60.
- Koselleck R. Gebrochene Erinnerungen? Deutsche und polnische Vergangenheiten // *Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung*. 2000. No 12.
- Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*. Ed. by Aleida Assmann, Sebastian Conrad. Palgrave Macmillan, 2010.
- Myths and Boundaries in South-Eastern Europe*. Ed. by P. Kolsto. London, 2005.
- Poole R. Misremembering the Holocaust: Universal Symbol, Nationalist Icon or Moral Kitsch // *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*. Basingstoke and New York, 2010.
- Ricoeur P. Reflections on a New Ethos for Europe // *Philosophy and Social Criticism*. 1995. No 21(5/6).
- Ricour P. *La memoire, l'histoire, l'oubli*. Paris, 2000.
- Sala D. Political myth, mythology and the European Union // *Journal of Common Market Studies*. 2010. No 48.

Terror, Insecurity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11. Ed. by Didier Bigo, Anastasia Tsoukкала. London and New York: Routledge, 2008.

Walt S.M. The Renaissance of Security Studies // *International Studies Quarterly*. 1991. Vol. 35. No 2.

Winter J., Sivan E. Setting the Framework // *War and Remembrance in the Twentieth Century*. Ed. by J. Winter and E. Sivan. Cambridge, 1999.

REFERENCES

Assmann J. *Kul'turnaja pamjat'. Pis'mo, pamjat' o proshlom i politicheskaja identichnost' v vysokih kul'turah proshlogo* [The Cultural Memory: Writing, Memory of the Past and Political Identity in the Ancient World Cultures]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2004 (in Russian).

Assman A. *Novoe nedovol'stvo memorial'noj kul'turoj* [The New Discontent by the Memorial Culture]. Moscow: Novoe Literaturnoe obozrenie, 2016 (in Russian).

Vitgenshtejn L. *Logiko-filosofskij traktat* [Tractatus logico philosophicus]. Moscow: Nauka Publ., 1958 (in Russian).

Renan E. Chto takoe nacija? [What is a Nation?], in Renan E. *Collection of essays in 12 vols*. Per. s fr.; pod red. V.N. Mihailovskogo. Vol. 6. Kiev, 1902 (in Russian).

Conference of Russian ambassadors and permanent representatives, July 1, 2014, <http://kremlin.ru/events/president/news/46131> (available at July 18, 2016) (in Russian).

Halbwachs M. Kollektivnaja i istoricheskaja pamjat' [Historical Memory and Collective Memory], in: *Neprikosnovennyj zapas*. 2005. № 2–3 (in Russian).

Foucault M. *Slova i veshchi* [Les Mots et les choses]. Saint Petersburg: A-cad Publ., 1994 (in Russian).

Agamben G. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press, 1998.

Agamben G. *State of Exception*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2005.

Assmann A. The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory Community, in: *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*. Ed. by A. Assmann, S. Conrad. Palgrave Macmillan, 2010.

Bigo D., Carrera S., Guild E., Walker R.B.J. *The Changing Landscape of European Liberty and Security: Mid-Term Report on the Results of the CHALLENGE Project, Research Paper № 4* (2009). URL: www.libertysecurity.org/article1357.html.

Bryce J. *The American Commonwealth*, 2 vols. Indianapolis: Liberty Fund, 1995.

Butterfield H. *The Whig Interpretation of History*. L., 1931.

Buzan B., Wæver O., Wilde J. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers Inc., 1998.

- Campbell D. *Writing Security: United States foreign policy and the politics of identity*. Minneapolis, 1998.
- Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto, in: *Security Dialogue*. 2006. Vol. 37. No 4.
- Critical Security Studies and World Politics*. Ed. by Ken Booth. London and Boulder: Lynne Rienner Publications Inc., 2005.
- Critical Security Studies: Concepts and Cases*. Ed. by K. Krause, M. Williams. Minneapolis, 1997.
- Eriksson J. Debating the Politics of Security Studies: Response to Goldmann, Wæver and Williams, in: *Cooperation and Conflict*. 1999. No 34.
- Khong F. *Analogies at War: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965*. Princeton University Press, 1992.
- Klein B. *Strategic Studies and World Order*. Camb., 1994.
- Klein K.L. On the emergence of Memory in historical discourse, in: *Representations*. 2000. Vol. 60.
- Koselleck R. Gebrochene Erinnerungen? Deutsche und polnische Vergangenheiten, in: *Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung*. 2000. № 12 (in German).
- Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*. Ed. by Aleida Assmann, Sebastian Conrad. Palgrave Macmillan, 2010.
- Myths and Boundaries in South-Eastern Europe*. Ed. by P. Kolsto. London, 2005.
- Poole R. Misremembering the Holocaust: Universal Symbol, Nationalist Icon or Moral Kitsch, in: *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*. Basingstoke and New York, 2010.
- Ricoeur P. Reflections on a New Ethos for Europe, in: *Philosophy and Social Criticism*. 1995. No 21(5/6).
- Ricour P. *La memoire, l'histoire, l'oubli*. Paris, 2000 (in French).
- Sala D. Political myth, mythology and the European Union, in: *Journal of Common Market Studies*. 2010. No 48.
- Terror, Insecurity and Liberty: Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11*. Ed. by Didier Bigo, Anastasia Tsoukka. London and New York, 2008.
- Walt S.M. The Renaissance of Security Studies, in: *International Studies Quarterly*. 1991. Vol. 35. No 2.
- Winter J., Sivan E. Setting the Framework, in: *War and Remembrance in the Twentieth Century*. Ed. by J. Winter and E. Sivan. Cambridge, 1999.